

presentation, I turn to one of the projects I have conducted recently in Ukraine in collaboration with my many esteemed Ukrainian colleagues. Launched in 2007, the project “Oral History of Decollectivization of Ukraine in the 1990s” encompassed ten regions of Ukraine where local interviewers conducted interviews with former members of collective farms. The goal of the project was to record people’s perspectives on decollectivization and to document a particular collective stance which, I assumed, would emerge through multiplicity of the recorded testimonies. My task today is to evaluate the project’s claims and methods in relationship to its attempt to locate, explore, understand and perhaps redeem yet another subject of the Ukrainian history, “Ukrainian villager, decollectivized”.

Елена РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

**БИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ СМЫСЛА:
ИСТОРИИ ЖИЗНИ ОСТАРБАЙТЕРОВ**

О проекте. В основу этой статьи легли материалы международного документально-го проекта «Принудительный и рабский труд¹» — биографические интервью с угнанными на работу в Германию и пережившими тяготы подневольного труда². Собираемые в традициях устной истории биографии остарбайтеров постепенно занимают свое место в общем, но не равноценно означенном символическом пространстве дискурсивной памяти о войне. Объединяющей проекты разных стран задачей была, прежде всего, документация опыта, архивирование собранной аудиовизуальной информации. В фокусе нашего исследовательского интереса находились три основных категории: представители гражданского населения, угнанные в Германию на принудительные работы с оккупированных территорий, военнообязанные, попавшие в плен и на принудительные работы, а также граждане, которые вынуждены были работать в оккупации. Социологическая позиция требовала отнести к историям жизни наших биографантов не только как источнику устноисторического знания, но, прежде всего, как «свидетельству», помещенному в пространство истории жизни с повседневным фоном микросоциальной истории.

Этот международный проект выявил не только общую травму военного поколения многих стран, но и обнаружил различные траектории этой социальной группы в различных обществах: возможность говорить о прошлом была легитимной далеко не у всех, перспектива репрессий при возвращении блокировала входение опыта в культурную память остарбайтерского сообщества, которое возникло в России только в 1990-е гг. в кампанию компенсационных выплат со стороны немецких фондов.

Трансформации субъекта. Собранные истории жизни российских остарбайтеров представляют собой не только устно-исторический, архивный интерес как свидетельства той страницы истории о войне, которая явно еще не дописана. С философской точки зрения, — это биополитический (в терминах М. Фуко) эксперимент с условиями существования, который изменяет субъекта, лишая его субъектности. Этот режим десубъективации описан в парадоксах Примо Леви. Первый из них гласит: «Мусульманин (лагерный доходяга) — это воплощенный свидетель», но его субъективность как

свидетеля расщеплена: «Свидетель как этический субъект — это субъект, который свидетельствует об утрате субъективности». Второй парадокс Леви: «Человек — это тот, кто может пережить человека...» Двойное выживание выражается в том, что нечеловек — это тот, кто выживает после человека; человек — это тот, кто выживает после нечеловека. То есть, свидетель в доходяге может его пережить: «То, что может быть беспредельно разрушено, может беспредельно выживать»³.

Но это еще и социологически важный материал, требующий своего изучения. Двойное выживание, по П. Леви, оборачивается идентификационными разрывами. Сложность его анализа связана не только с тем, что пережитые страдания, страх и лишения провоцируют рассказчиков на «новояз», требующий своей семиотической декодировки и психотерапевтического подхода. Внимание вызывает сама биографическая работа рассказчиков по преодолению травмы-стигмы, ощущаемой и частично осознаваемой как отклонение от поколенческой биографической нормы. Этот своеобразный ремонт биографий может быть прослежен на двух уровнях — в плоскости реконструируемых стратегий нормализации жизненного пути, приведения их к норме биографии⁴, а также в плоскости самого рассказа как нарративные стратегии представления событий жизни.

Травма. Но прежде стоит упомянуть о терминологическом конфликте, которым нагружено употребление понятия травмы в поле социологии и истории. Социологи, благодаря П. Штомпке, взяли на вооружение сюжет травмы: тематизируется и истолковывается культурная травма как последствие столкновений культурных ценностей социума с «чужим» и враждебным окружением, как масштабный социо-культурный кризис базисных ценностей, смыслов и значений социальной реальности⁵. Прежние правила социального порядка ставятся под сомнение, что влечет за собой утрату индивидуальной и групповой идентичности. Затем возник и социологический аспект контртравмы как усилия дезадаптантов по ресоциализации, как свидетельство затягивающейся социальной ткани. С точки зрения А. Здравомыслова, «травма есть переживаемая боль — сильное побуждение к действию, характер которого иррационален. Травмы возникают как следствия поражений, несбывшихся надежд, резкого изменения привычного социального пространства, как память об утратах. Они становятся массовыми, и в тех случаях, когда источник боли не находит рационального объяснения и методов избавления, они приводят к деградации волевого начала, к стихийной трансформации всей структуры общественных отношений»⁶. С его точки зрения, «...общество находит в себе силы к преодолению травмы... прежде всего, с помощью иной композиции социального действия, которое создает социальную базу преодоления травматического сознания»⁷. Мы бы хотели подчеркнуть, что, помимо культурной рационализации, в преодолении травмы социального происхождения имеет большое значение дискурсивная доступность нарратива о травме и его оборот в культуре, но также придание статуса экспертного свидетеля самому нарратору. Не случайно архив Шиндлера закрыт для внешнего анализа, он предназначен для культурной памяти этнического сообщества, пережившего Шоа и целей коллективной идентификации. Этот вариант контртравмы наиболее ярко иллюстрирует двойственность самого термина, сохраня-

ющего, консервирующего саму информацию о травме, вернее, коллективный нарратив о ней, с неизбежной виктимизацией.

Историки (А. М. Руткевич, И. М. Савельева, А. В. Полетаев) выступили резко против доктрины «исторической памяти», словоупотребления травмы, привносящего в социально-исторический дискурс медико-психо-аналитический контекст, влияющий на методологию исторического исследования. «Публично напомнить о своих страданиях — хороший способ получить те или иные привилегии или даже добиться выплат», пишет А. М. Руткевич⁸. Так, говоря об истории XX в. с огромным числом свидетельств жертв концлагерей, войн, депортаций, геноцида, А. М. Руткевич задается вопросом, а что делать с этими данными? «Историку они нужны для выяснения того, что на самом деле происходило в прошлом, тогда как собирают эти данные зачастую со всем другими целями»⁹. Да, действительно, социологу, например, подобные свидетельства важны сами по себе, не только как источник сопоставимой информации о событии, важны даже в том случае, если информант лжет, и тогда конструкт лжи подлежит деконструкции с точки зрения его функциональности для выстраиваемой нарративной идентичности. Полемизируя со сторонниками концепта исторической памяти, А. М. Руткевич считает не банальной в ней только теорию «травмированной коллективной памяти», зато ложной, поскольку для коллективного травматического опыта необходима коллективная психика. Последний аргумент нам кажется натянутым или упрощающим картину. Любой и не травмирующий коллективно разделенный опыт, понимаемый вслед за К. Маннгеймом как «конъюнктивное пространство опыта», порождает типичу структур группового сознания, которым будут близко интерпретироваться как визуальный знак Итонского галстука, так и цифровое тату на запястье. Социологическое же прочтение групповой травмы (индивидами занимаются действительно другие ведомства, наука или парадигмы) принимает во внимание посттравматическую социальную ситуацию. Она раскрывается как поле возможных или невозможных вследствие травмы действий, а также наличие или значимое отсутствие внутриколлективного и дискурсивного нарратива о травме, его структуру, разрывы и ремонт как биографические стратегии по выходу из травмы, так и нарративные способы ее донесения, инвентаризацию биографических ресурсов для преодоления травматического опыта.

Нам ближе цеховая позиция П. Штомпки—А. Здравомыслова, особенно ввиду биографического материала, качественно ориентированной методологии сбора (нарративных интервью) и анализа историй жизни. Тем не менее, понятие травмы в данном контексте нуждается в ряде замещающих и расшифровывающих терминов, которыми мы могли бы и удовлетвориться, если бы сочли возможным пренебречь/дистанцироваться от неизбежно привносимой субъективности рассказчиков, которую иные термины, рационализируя, скрывают. Имеется в виду утрата смысла (кризис отношений прошлого и настоящего, в рамках которого прошлое обесценивается, или опыт, который разрушает возможности его интерпретации), утрата смысловой связности биографического конструкта или когеренции¹⁰ биографии. Как эмпирически доступный феномен эта проблематика обнаруживается в биографических разрывах, невозможности

для рассказчиков совместить в едином пространстве рассказа все фазы жизненного пути, т. е., крушении единого нарратива, его фрагментации, лакунах, фигурах умолчания и прочих нарративных стратегиях. В этом смысле нарративная идентичность, на прагматичном и локально ситуированном уровне которой происходит «ремонт» биографии, — важное поле анализа тех ресурсов, с которыми рассказчик решает самую главную задачу своей жизни, — собирает свое Я.

Катастрофичность опыта. В анализе этих биографий мы полагаемся, отчасти, на культур-антропологический подход Йорна Рюзена в изучении кризиса исторической памяти, который возникает при столкновении исторического сознания с опытом, выходящим за рамки представлений о социально-исторической норме, — катастрофическим опытом. По мнению Й. Рюзена, вообще обращение к микроистории, конкретным биографиям — проявление внимания к способу, каким люди воспринимали и интерпретировали их собственный мир, проникновения в сознание изучаемых людей в попытке тем самым вернуть им культурную самостоятельность восприятия их собственного мира характерным для них способом, который отличается от нашего²¹. Утверждая оспариваемую методическую рациональность микроисторического подхода, он пишет, что «не существует памяти, абсолютно не претендующей на правдоподобие, и эта претензия основывается на двух элементах: внесубъективном (transsubjective) элементе опыта и интересубъективном элементе согласия»²². Если память — закрепленный и воспроизводимый, передаваемый в семейном и социальном нарративе опыт, то интересубъективность — другой элемент исторического смысла: история немислима без согласия тех, к кому она обращена. Но, как пишет далее Рюзен, «ее правдоподобие зависит не только от ее отношения к опыту. Оно зависит также от ее отношения к нормам и ценностям как элементам исторического смысла, разделяемым сообществом, которому она (история) адресована»²³, то есть, зависит от дискурсивных правил, которые создают интересубъективное согласие.

Итак, мы рассматриваем собранные биографии остарбайтеров как пространство травмированной, добавим мы, разорванной, некогерентной социальной идентичности, которые, с одной стороны, испытывают давление кризиса смысла со стороны дискурсивных правил, ставящих под сомнение интересубъективное согласие других социальных групп советского общества относительно места и роли остарбайтеров, оценки и принятия их поствоенного нарратива. С другой стороны, катастрофический опыт пережитого с точки зрения самих субъектов не может быть наделен смыслом²⁴ и отчуждается 1) уходом в формы группового нарратива, 2) фрагментации рассказа либо 3) путем замалчивания.

Коллективный или групповой опыт в своем языковом референте «мы» отражает логику повседневности, используемые местоимения как фигуративная языковая сеть указывают проективный образ социального окружения, границы социального субъекта. В ниже приведенном примере из интервью «мы» семантически преломляется страдательным залогом употребляемых глаголов (нас), создавая образ репрессивно-социального порядка, впечатление принуждения и безличной машинерии происходящего.

Коллективный нарратив из интервью с Н. Д. Зайцевым:

Нас привели к входу в концлагерь Гроссенрозен, над воротами был большой плакат «каждому свое». Нас пересчитали, одна охрана сдала, вторая приняла и нас повели по территории. Дошли мы до первого барака. Он назывался санитарный блок. Там зал, раздевались мы догола и бросали в кучу свою одежду... нас постригли и побрили. И когда уже надо было проходить в умывальные отделения, там уже стояли, смотрели контролеры, проверяли нас, как мы побриты и подстрижены. И если что-то не нравилось этим контролерам, они прямо здесь били нас и отправляли обратно к парикмахерам. Приходили и говорили, что у нас там-то не добрито. Они тоже психовали и били нас, но потом добривали и достригали. ...Мы очень ждали, когда включают воду, когда дали вдруг воду, стали все мыться, намывливаться и мгновенно была выключена та вода. И кто не домылся, выходили в одевалку недомытые, и нам уже давали кальсоны белые с черной и синей полосой и халат. Вот в таком виде в холоде, нас привезли в блок номер 9, там мы ложились на бок, тогда подгоняла был по лежащим палкой, чтобы мы двигались. И когда он был последнего человека, то образовалась такая довольно-таки свободная территория, на эту территорию приказывали ложиться тем, кому не хватило места вообще. И мы лежали все сдавленные друг другом, а в 5 часов утра был подъем.

Событие. Фоновая практика катастрофичности требует также своего прояснения. История или фрагмент основного рассказа о травмирующем опыте остарбайтера необходимо поместить в рамки социального и временного контекста. Ими являются характеристики социума, организованного как принудительно мобилизованная масса, уровень жизни которой сопоставим (по крайней мере, после войны) и сравним с контролем, степенью эксплуатации, голода трудового лагеря. Бедность и практики выживания мало чем отличались, сближая предвоенное, военное и послевоенное время. На этом фоне обесценение человеческой личности приобретает не внезапный, а преемственный характер.

Из интервью с Е. В. Александровой:

Когда наши освободители пришли, то они уже с нами начали поступать по-хамски. Ну, мы там были в одном доме. И вот ночью пришли они к нам в комнату. У нас первая кровать здесь, так стояла, спали два парня, а на второй спали мы вдвоем с этой, еще одна там. Так что они: «Ну-ка, давайте, говорят, двигайтесь, — нам, — двигайтесь! Здесь, с немцами вам хорошо было? А нас, что — отталкиваете?» Мы с кровати вскочили. Ребята лежат, не шелохнутся. Они знают, что те вооружены. Ну, мы побыли так, они все-таки постеснялись, видимо, ребят, но потом ушли. «Ну ладно! Сегодня мы вам устроим... очередь...»

А приехали домой, здесь пошла работа другая. Здесь сентябрь месяц, начинаются овощи, баржи. Это начинают посылать на разгрузку, барж. А зима настала — нас в лес, дрова пилить. Ведь надо восстанавливать все. В лесу простыла, заболела, у меня, фурункулы, температура, — никаких, ничего не признавали — иди, иди и работай! И врачи не признавали, что с температурой — поезжай в лес! Со скотом, по-моему, так не обращаются, как с нами. А тем более, считали, что мы, — предатели, мы — враги.

Из интервью с Р. С. Крюковой о возвращении домой из лагеря:

А в доме уже люди жили у нас. И мы когда пришли, мы стали их предупреждать, что мы возвратились, вы освободите наше помещение. — «Что мы, в сарай пойдем? Нечего было шляться по Германии!» (грубо). (Пауза) Русский народ. Сочувствующий. (С горечью).

Из интервью с Н. В. Даниловой о возвращении из лагеря и послевоенной деревне:

А домой приехали — ни одного дома нет, там заминировано все. Несколько человек по-дворалось, пока вот мы семь километров кое-как дошли до своей Курповщины, и в сельсовет въехали, в сельсовет, семей десять или сколько там, в одном помещении, были. Кто на полу, там не разберешь... Спим — крысы большущие кусают нас, плачем, боимся... Но, слава Богу, мы дома, мы на родине. И так стали жить. Папа еще в госпитале был...

Потом, через шесть месяцев, папа пришел домой. А мы, братья мои, я, в колхозе стали работать. А ведь нельзя, заминированы все поля, потом научились, нас... нам показали, как разминировать, и сами разминировали мины. Мы набирали тол... у нас в деревне, э... еще немцами... бункера такие сделаны, нам нужны были бревна, чтобы построить какой-то домик. Вот мы взорвем все, лопатами это все сроем, привяжем веревкой, волочем бревна... эти... до дома. Но мы дом-то не построили, но натаскали.

Ни одеть, ни обуть — ничего! А нам в школу ходить... Нам два с половиной километра идти было надо. Мама нам кальсоны давала. Накрутит нам этих тряпок, и вот эти валенки, одежда одна... Вот. Дохожу я до деревни Исаковщина, в Исаковщине брат меня встречает, меня разувает... И я в этих портянках бегу... А морозы-то были — до тридцати с лишним градусов. И один раз я не добежала до деревни, упала в снегу. Вот, женщина шла, с этой же деревни, она меня подобрала, спасла.

Свидетельство. В отношении выживших в концлагерях некоторыми авторами (П. Леви, Дж. Агамбен и др.) постулируется определенная связь между стремлением выжить и готовностью свидетельствовать. Они усматривают особую функцию свидетельского повествования, рассказа о случившемся — ценностную, смысловую. «Выживший призван помнить, он не в силах не вспоминать»²⁵. Решая эту задачу, бывший заключенный, низведенный до объекта насилия, отчасти возвращает себе субъектность. Но, отметим мы, фоном дискуссий с негационистами и «ревизионистами Холокоста» является правовое поле законов о Холокосте, когда установлены юридические понятия ответственности и даны оценки. Какова функция рассказа отечественного остарбайтера о прошлом? Ее реконструкция осложнена прежде всего тем, что в советском, а затем российском историко-гуманитарном официальном дискурсе не было места для символического признания этой категории — «работали на врага». Их десубъективизация не подлежала восстановлению дискурсивными средствами эпохи. Невозможность вписаться в послевоенный гранд-нарратив («как мы ковали победу» либо «как мы трудились в тылу для победы») имела следствием прежде всего замалчивание, биографический разрыв, не-присвоение части своей прошлой жизни как ресурса идентификации.

Из интервью с Е. В. Александровой:

Не рассказывала. Приятельница-то моя знала, а так, никому я не рассказывала, что я была в Германии. Потом уже стали говорить вот там. А то никому ни звука.

Большинство рассказчиков впервые заговорили об этом только в 1990-е гг. в кампанию компенсации, умалчивая об этом в том числе и близким — мужьям, женам, детям. В процессе интервью это могло приобретать инверсивный характер — попытки рассказывать только о войне и лагере, обрывая детство и послевоенную жизнь — как невозможность связать нормальную жизнь до травмирующего события с нормализацией после него.

Из интервью с Н. Д. Зайцевым:

И.: Пожалуйста, Николай Дмитриевич, я слушаю вас. Когда вы родились, где, сколько вам лет?

Р.: 20 июня 1941 года меня призвали в армию...

И.: Николай Дмитриевич, когда вы родились? Давайте мы начнем с момента рождения, с вашего детства. До армии ведь тоже была жизнь.

Р.: Родился я 26 июля 1922 года в деревне Лохново Псковского района. Когда мне было 2 года, мои родители переехали в город. Отец работал сапожником... Мы жили... рядом с гостиницей «Октябрьская» на 1 этаже. Там книжный магазин был и мы рядом, дружили мы... четверо нас было друзей-товарищей. Вот двоих взяли в армию 20 июня 1941 года.

Из интервью с Р. С. Крюковой:

А детство что? Ну, в детстве я... Да, я, собственно говоря, особо не помню, школу помню. Вот где почта сейчас, там была школа четырехклассная. Я здесь сначала училась четыре года. Потом пришлось мне переходить уже туда, в сторону вокзала, там девятая школа была, там я училась до начала войны. Как раз в июне месяце война началась, а я экзамены сдавала.

Проблемы нарративизации. На основе интервью с людьми, коллективно пережившими травматические события (Шоа, концлагерь, репрессии) давно подмечено, что в отличие от тех, кто осуществлял насилие, их жертвам труднее дается завершённый, непрерывный рассказ, а также тематизация событий их жизни, связанных с преследованиями, так что они едва ли могут об этом говорить²⁶. Они даже мало используют стратегии дистанцирования от ужасного пережитого. Большинство прибегает к умалчанию с амбивалентным желанием все же рассказать, поделиться. Сложности рассказывания после долгих лет молчания порождают лакуны рассказа, обусловленные пережитой травматизацией. Стремясь рассказами противостоять забыванию преступлений нацистов или возрождению тезиса об Освенциме как мифе, они пытаются рассказать о травматичном и поэтому сложно, трудно излагаемом событии, оставить свидетельство с их личным опытом. И в этом случае возникает проблема проговорить как раз то, что наиболее болезненно, что приносит новые мучения в процессе рассказа. Сложная задача

рассказа сопряжена с тем, что нет еще целостного образа, гештальта¹⁷ того, что пережито, но прежде еще не рассказывалось.

Если же рассказы не рассказываются, возникает опасность, что травмированные останутся пленниками, как бы арестованными в пережитом, и не смогут от него дистанцироваться. И тогда едва ли возможно переживать прошедшее как отличающееся от настоящего: «Акт воспроизведения ставит прошлое в рассказе в осовремененную дистанцию к современности, и происходит темпоральный разрыв»¹⁸. Рассказ представляет форму превращения чужого в близкое, в котором незнакомое становится знакомым и понятным через нарративную деятельность самому рассказчику и его слушателю¹⁹. Невозможность рассказать ведет от травматичных событий жизненных фаз к вторичной травматизации после времени страдания. Если не удастся перевести опыты в рассказы, возникшие в пережитых ситуациях, травматизации усиливаются.

Фрагментация рассказов, как мы видели на приведенных примерах, — нарративные следствия травматичного жизненного опыта, нарушенного чувства целостности, непрерывности. Пережитая жизненная история фрагментирует, разрывает сознание этих людей и взаимосвязь между различными фазами жизни. Целые этапы жизни тонут в непроговоренности. Минуется вообще форма рассказа. Изобретается «спасительная» структура изображения: сначала рассказывается о начале войны, описывается само травматичное время, а затем — освобождение, жизнь после войны выглядит нарративно бессобытийно. Но умолчание может касаться и времени «перед», «во время» травмы либо «после» нее. Трудности рассказа о детстве и ситуации до травмы обусловлены сложностью их интеграции в биографию, поскольку весь предыдущий жизненный путь изломан. Если формулировать эту ситуацию в гештальте — фигура жизни до войны больше не интегрируема в фигуру после войны, нет связующих линий. Другая причина потери полного рассказа о жизни — идеализация того времени до травмы и населяющих его персонажей, а также искажение всех связанных с ними чувств, поступков, мыслей²⁰. Идеализация счастливого времени или нежных любящих родителей, братьев-сестер может вести к тому, что пережившие травму станут избегать рассказов, которые могут разрушить эти идеализации. Но в нашем массиве 30-ти интервью о предвоенном советском детстве, особенно в крестьянской среде, идеализация преломляется в сюжет хорошо функционирующего домохозяйства, достатка, труда на себя.

Из интервью с Н. В. Даниловой:

Нас было шестеро детей, вот... Родители очень хорошие были, особенно папа и мама, вот... и вообще очень хорошие родители... Дом у нас очень хороший был. Пятистенка. Было девять у нас детей, трое умерли. Потому что некогда было ухаживать, детей же много было, дома надо было много делать. Делали все, все заставляли делать, стирать заставляли, все делали... В общем, детство мое, особенно, нельзя... И так вот вечером, что нам дадут родители, сделаем — значит, мы имеем право сходить на столько-то погулять, вот... А если не сделаем, значит, будем делать, пока не сделаем. Потому что надо тоже помочь родителям, вот.

Некогерентность биографии как решаемая рассказчиками проблема. Важно с точки зрения интерпретации связности/когеренции биографии, что те, кто рассказывает о времени перед войной, повествовательно выстраивают именно те биографические нити, которые могут быть подхвачены вновь и после войны. Так, предыдущий и последующий эпизоды контекстуально (труд и заработок) и интенционально (направленность на общесемейное благо многодетной семьи) увязаны в смысловом отношении как традиционная крестьянская культура уважения к родителям и контроля с их стороны, продлеваемого и во взрослом статусе детей. Кстати, нижеследующий пример из интервью отражает и момент изживания паттерна семейного контроля в связи с ростом образования, тенденциями урбанизации и трудовой миграции.

Из интервью с Н. В. Даниловой:

Ну, мне уже было порядочно, двадцать пятый год был, да... Вот. К тому же мне выйти замуж совершенно не в чем было. Ну что я зарабатывала. А какие копейки получу — сразу же: «Мама... Мамочка, берите деньги, все до копейки». Первый раз в жизни я... мне родители позволили. Так хотела часы... Я говорю: «Разрешите мне часы купить». И вот, они мне разрешили. Вот, тогда я часы купила, «Заря», как сейчас помню, они мне долго-долго служили. Я и ночью, и днем на них любовалась... Так что, так жили, что вообще, вот...

...Думаю: «Господи, дождусь я детей, когда они пойдут зарабатывать? Они мне будут денежки приносить, у меня столько будет денег»... Вот. И никого я не дождалась. Все разлетелось — одна замуж, другая...

Длительное умалчивание или частичное замалчивание прошлого рассказчиков, дехронологизация вплоть до элиминирования целых разделов жизни как нарративные решения донесения травмированной биографии тем не менее содержат набор социальных действий²¹, которые на уровне конструкции жизненного пути отражают стратегии нормализации, совладания с разрывом в биографии или восстановления биографической целостности:

- **Нормализация** (мужская биография с учетом «добирания» военной биографии плюс трудовая занятость, женская биография как история замужества, смены фамилии, отягощенной фактом работы в Германии, рождения детей плюс трудовая занятость).

Два примера мужских биографий, одна из которых (Зайцев) демонстрирует пример нормализации через героический военный опыт в штрафной роте, который и «переписывает» ущербность пленения. В составе штрафной роты он совершит подвиг и будет награжден орденом славы 3-й степени. Будет в его биографии и взятие Берлина, карьера в ОБЛКОМХОЗе, занимался он капитальным ремонтом, но и фронтальная биография не спасла его от упреков («упрекали свои же работники, с зависти, наверное, потому что я был в плену и вдруг я занимаю такую должность, вспоминать даже не хочется»).

Вторая биография (отца Крюковой) — о мобилизации в армию в качестве тылового рабочего, но, тем не менее, военнотрудового, что и позволит ему закончить период войны с фронтовым, а не лагерным опытом.

Из интервью с Р. С. Крюковой о возвращении на родину и мобилизации отца:

Два лейтенанта подъехали, один очень злой такой, говорит, что: «Что, поехали к немцам работать?», второй с отцом стал разговаривать, говорит: «Знаешь, что, папаша, уезжайте, говорит, дальше куда-нибудь. А то, говорит, мы отступим, вы опять окажетесь под немцами. Мы с километр по дороге прошли, потому что здесь все идут люди без конца по обочинам. А потом подходит один военный и говорит: «Папаша, а ты какого года рождения?». Он сказал, какого года рождения, тот и говорит, что тебе придется в повозочке походить... И его забрали в армию. И мы остались втроем.

Женская биография (Терехова) отсылает к опыту запрета на профессию и брачную стратегию с рождениями детей.

Из интервью с Л. В. Тереховой, учительницы в оккупированной деревне:

Мы друг у друга даже не брали адресов, потому что после войны мы не старались друг друга искать, оно лопнуло, должна была война кончиться и не напоминать больше... Потом здесь было такое, как сказать, все, кто был в оккупации, всех учителей снять, я и вылетела с этой оккупацией. Придумали, конечно, другую причину, впрямую это не писали. Ну, потом я уже не пошла на учительское поприще. Потом я тут замуж вышла, с детьми просидела, а потом пошла секретарем по конторам.

• **Анонимизация** (классическим для сталинской России способом ухода от возможных репрессий являлась, и примеры из нашей выборки это подтверждают, трудовая миграция, манипуляции с документами — их утрата, подмена, утаивание фактов, умолчания, те же брачные стратегии).

Из интервью с Е. И. Михайловой о ее трудовой биографии и миграции:

В городе-то проще было, затерялся там, никто не спрашивает... не говоришь — и не говоришь об этом... Четыре класса я закончила — потом все, работать уже надо, помочь маме надо было, налог надо было платить за все. Такие налоги были, что... Держишь куру, не держишь — яйцо сдай там, определенное, шерсть там сдай, молоко принеси от коровы... Картошку — столько-то, чеснока столько-то... И денежный плюс налог еще... Это какой-то кошмар. И вот я пошла работать на кирпичный завод, девчонкой. Пятнадцать лет мне исполнилось, второй сезон отработала — мне дали справку, я получила рабочий паспорт. Потом, завербовались — в Ленинград, на стройку. Три года я там отработала, ну, как вербовка кончилась... Потом я ушла на фабрику.

• **Компенсация** (поиск культурных ниш занятости, которые позволяют вести постоянный диалог, не всегда напрямую, о пережитом и выбор позиции эксперта с работой в архивах, организация своего сообщества — например, общества узников, малоизвестных узников, литературно-историческое творчество и др.).

Среди наших респондентов — Г. Н. Кожевников, председатель Псковского общества узников концлагерей, сам в детстве прошедший Заксенхаузен, вместе с женой занимаются общественной работой по организации встреч, помощи своим товарищам, той работой коммеморации, которая занимает промежуточную и неоднозначную в публичном дискурсе о войне нишу рядом с обществом ветеранов ВОВ. Среди членов этого сообщества есть и литературные авторы, пишущие стихи, очерки, историко-краеведческие статьи, которые позволяют им перевести биографический опыт в литературную форму, отчуждающую пережитое, и хотя бы таким образом получить символическое признание.

• **Гиперкомпенсация** (одной из форм переработки прошлого явилась смена ролей и идентификация с охранительным персонажем).

Пример этой стратегии обнаружился случайно: интервьюируя одну из женщин, участниц псковского сообщества узников лагерей, мы узнали о ее соседке с подобным опытом. Договорившись по телефону, мы пришли к ней, пожилой женщине после инсульта, со сломанной к тому же рукой. Заполнив анкету, можно было уже приступить непосредственно к интервьюированию, но от него она уже отказалась, попытавшись вернуть скромные подарки, врученные при встрече. Тем не менее, в отсутствие нарратива имеется биографический конструкт, жизненный путь, который отчасти объясняет ее неготовность к сотрудничеству. М. Иванова, будучи угнанной из Пскова в 19 лет, проработала три года сварщицей на военном заводе под Дрезденом. Но после освобождения возвращается не в Псков, а списывается со своей подругой по лагерю и уезжает на золотые прииски на север страны работать там охранницей. Теперь она охраняет заключенных, которые добывают золото. Там же она знакомится со своим мужем, тоже охранником, детей у них нет, и лишь к пенсии, после смерти мужа, возвращается на родину. То, что подобная инверсия ролей и индивидуальный путь девиктимизации имел место, отчасти (в отсутствие нарратива) подтверждает ее нежелание рассказывать об этом.

Итак, эмпирически обнаруженные стратегии нормализации в биографиях рассказчиков представляют собой реализованные траектории жизненного пути, а умалчивание или частичное замалчивание прошлого рассказчиков, дехронологизация, фрагментация — нарративные решения донесения травмированной и компенсированной биографии. Другой дискурсивно уровень преодоления последствий травматического опыта мы находим в рюзеновском наборе стратегий детравматизации²², которые помещают травмирующие события в иной исторический контекст, — анонимизация субъекта насилия, морализация, эстетизация, телеологизация, историческая рефлексия, специализация (как сегментация проблемы в интересах различных специалистов). Отчасти итогам нашего исследования близка стратегия категоризации (травма разделена многими и нарративно переводится в категорию «лишения») и нормализации, хотя и понимаемой своеобразно (травмирующие события рассматриваются как неизбежно повторяющиеся). В целом, разделяя позицию И. Рюзена: «...Историческое исследование по своей логике является культурной практикой детравматизации. Оно преобразует травму в историю»²³, отметим, что

эта концепция целиком и полностью построена на публичном, не внутреннем дискурсе закрытой социальной группы с травмирующим опытом. Нарративные же стратегии наших рассказчиков, нашего объекта анализа, прошли эволюцию от молчания, умолчания, к частичному проговариванию, что говорит и о частичной, парциально восстановленной идентичности. Сформировавшийся коллективный нарратив группы остарбайтеров имеет хождение внутри сообщества в ходе коммеморативных практик, упираясь в потолок отсутствующего интереса общества и публичных дискуссий.

¹ Результаты этого проекта, координировавшегося Институтом истории и биографии Университета Хаген (Германия) при поддержке Фонда «Память и будущее», опубликованы (*Hitlers Sklaven. Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen Vergleich*/Hrsg. A. von Plato, A. Leh, Ch. Thonfeld. Wien; Koeln; Weimar, 2008).

² Автор статьи совместно с коллегами В. Семенов и О. Никитиной провели в Пскове и области 30 интервью с так называемыми остарбайтерами (см. *Nikitina O., Rozhdestvenskaya E., Semenova V. Frauenbiographien und Frauenerinerungen an den Krieg* (mit V. Semenova, O. Nikitina)//*Hitlers Sklaven. Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen Vergleich*/Hrsg. A. von Plato, A. Leh, Ch. Thonfeld. Wien-Koeln-Weimar, 2008). В силу своего пограничного расположения (граничит с Эстонией и Латвией на западе и Белоруссией — на юге), Псковская область была оккупирована вскоре после начала войны — 9 июля 1941 г., оккупация длилась до 22 июля 1944 г.

³ *Дубин Б.* Что остается от Аушвица. Архив и свидетельство. Эл. ресурс: <http://www.polit.ru/research/2009/03/26/agamben.html>

⁴ Реконструкция нормы биографии вытекает из тех усилий, которые предпринимают, проговаривая их, рассказчики с целью придания событийному ряду биографии типический характер либо, напротив, стремятся закамуфлировать неизживаемые события своей жизни. Так, структура этнометодологического порядка становится прозрачной при обнаруживаемых стратегиях по его восстановлению. Биографическую норму на репрезентативной выборке мы можем реконструировать как оседлость, верность выбранной распространенной профессии, стабильность социального контекста, усредненность, наличие полной семьи, ее этническая однородность, следование норме здоровья и поведения (см. *Мещеркина Е. Ю.* Структура женской биографии в отличие от мужской// *Устная история и биография: женский взгляд*/Ред. и сост. Е. Ю. Мещеркина. М., 2004. С. 221–253).

⁵ *Штомпка П.* Социальное изменение как травма//*Социологические исследования.* 2001. № 1. С. 6–16.

⁶ *Здравомыслов А. Г.* Тройственная интерпретация культуры и границы социологического знания//*Социологические исследования.* № 8. 2008. С. 6.

⁷ *Там же.* С. 10.

⁸ *Руткевич А. М.* Психоанализ, история, травмированная «память»//*Феномен прошлого*/Отв. ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. М., 2005. С. 247.

⁹ *Там же.* С. 237.

¹⁰ Связность/когерентность понимается как создание связного образа на основе автобиографических воспоминаний и биографической перспективы на собственное прошлое. Когеренция в широком смысле включает темпоральную непрерывность, а также синхронизацию образов Я и действий рассказчика в различных сферах и периодах жизни (*Рождественская Е. Ю.* Нарративная идентичность как продукт автобиографического рассказа в интервью. Тезисы к 3-му Всероссийскому конгрессу по социологии. М., 2008.).

¹¹ *Рюзен Й.* Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти)//*Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории.* 2001. Вып. 7. С. 12.

¹² *Там же.* С. 13.

¹³ *Там же.*

¹⁴ Мы не берем здесь в расчет позицию «внеаходимости» М. М. Бахтина как смыслопорождающую конструкцию выхода за пределы, ее религиозный вариант — в поиске оправдания смысла жизни также вне ее, но в вере — у Семена Франка (*Франк С.* Смысл жизни//*Смысл жизни: Антология*/Сост., общ. ред., предисл. и прим. Н. К. Гаврюшина. М., 1994. С. 489–583).

¹⁵ Цит. по: *Дубин Б.* Что остается от Аушвица. Архив и свидетельство. Эл. ресурс: <http://www.polit.ru/research/2009/03/26/agamben.html>

¹⁶ *Rosenthal G.* Erlebte und erzählte Geschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen. Frankfurt/Main, 1995.

¹⁷ Гештальт (от нем. Gestalt — образ, форма) — целостная структура, упорядочивающая многообразие отдельных явлений. Среди законов гештальта были выделены тяготение частей к образованию симметричного целого, группировка этих частей в направлении максимальной простоты, близости, равновесия, а также тенденция каждого психического феномена принять завершенную форму.

¹⁸ *Röttgers K.* Die Erzahlbarkeit des Lebens//*BIOS.* 1988. № 1 (1). С. 7.

¹⁹ *Schütze F.* Zur linguistischen und soziologischen Analyse von Erzählungen//*Internationales Jahrbuch für Wissens- und Religionsoziologie.* Bd. 10. Opladen, 1976. С. 7–41.

²⁰ *Rosenthal G.* Erlebte und erzählte Geschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen. Frankfurt/Main, 1995.

²¹ Этот набор ключевых социальных действий — результат смыслового кодирования, текстуальных процедур, уплотняющих смысл нарративов. Его реконструкция осуществлена в традиции качественного анализа нарративных данных по Глэзеру/Страусу (*Glaser B. G., Strauss A. L.* The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New York, 1967). Вопрос о полноте этого набора или исчерпываемости построенной типологии упирается в основания качественной выборки для интервьюирования. Мы провели собеседование с анкетированием всего состава Общества бывших узников, затем отобрали для интервьюирования 1) тех, кто представлял различные поля опыта (рекрутированы как гражданские, военнослужащие, как рабочие в индустрии, на селе, в лагере, в домах, — акцент на опыте индивида в ситуации (с отсылкой к Р. Коллинзу) наиболее типичные, с повторяемыми сюжетами жизненных путей. Совершенно непохожие индивидуальные судьбы анализировались как особые кейсы.

²² *Рюзен Й.* Кризис, травма и идентичность//«Цепь времен»: Проблемы исторического сознания/Ред. Л. П. Репина. М., 2005. С. 38–62.

²³ *Там же.* С. 60.

THE WORK OF RETURNING THE MEANING:
FORMER OSTARBEITERS' LIFE-STORIES

In this article, while analysing the life stories of former ostarbeiters, forced labourers in the Nazi Germany during the second world war, I focus on the “not-connectedness and incompleteness” as biographical trauma, and on the biographants’ efforts at trauma compensation and return of meaning. The concept of trauma is linked here to the catastrophic experience and desubjectivization. The analysis of the interviews reveals not only the destructive effect of socio-historical events on the biographies of the narrators, but also narrators’ strategies in overcoming the biographical gaps, both within the plane of their life paths and within the narrative plane of life stories.

Аспекти й дихотомії: усна історія та владні відносини

Наталья ПУШКАРЕВА

УСТНАЯ ИСТОРИЯ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Рождение «устной истории» как направления развития наших знаний о прошлом связывают с именем американского профессора, работавшего в Колумбийском университете — Алана Невинса — который еще в 1938 г. призвал своих коллег создать организацию, «которая систематически собирала бы и записывала устные рассказы, а также мемуары видных американцев об их участии в общественной, политической, экономической и культурной жизни страны». Через 10 лет, в 1948 г., по его инициативе в Колумбийском университете был создан «Кабинет устной истории» для записи мемуаров людей, сыгравших значительную роль в жизни Америки¹.

Таким образом, идея найти способ обрести знания о прошлом на основе записей устных рассказов, прямо скажем, не нова. На записи устных рассказов опирались и те, кто создавал свои «истории» полтора-два века тому назад. В нашей стране такой путь получения исторической информации более привычен этнографам, нежели историкам. Впрочем, когда письменных источников не хватало, и историки поначалу не отставали. Уже в первые годы советской власти, сразу после революции и Гражданской войны, начался сбор воспоминаний их участников, а с 1931 г. необходимый импульс получил и проект создания «Истории фабрик и заводов» — и тоже (в том числе) на основании устных воспоминаний и рассказов².

Однако во всей мировой историографии (и российская оказалась, к сожалению, не исключением) признание устной истории *равноправным и равноценным методом получения знаний о прошлом*, который породил свое, по сути — самостоятельное исследовательское направление³, относится не ранее, чем к последней четверти XX в., если не к последнему 20-летию.

Итоги развития этого направления, размышления о причинах долгой непопулярности устной истории в нашей историографии подведены к настоящему времени во множестве публикаций, в том числе в центральных научных журналах⁴. Кратко назову лишь некоторые из упреков, которые предъявляли устным историкам: притязания на равноправность (в сравнении с письменными, документальными свидетельствами), к которой сторонники устной истории никогда и не стремились, централизованность